

ЧАСТЬ ПЯТАЯ
ПАРИЖ — ИТАЛИЯ — ПАРИЖ
(1847–1852)

Начиная печатать еще часть «Былого и думы», я опять остановился перед отрывочностью рассказов, картин и, так сказать, *подстрочных* к ним рассуждений. Внешнего единства в них меньше, чем в первых частях. Спать их в одно — я никак не мог. Выполняя промежутки, очень легко дать всему другой фон и другое освещение — *тогдашняя* истина пропадет. «Былое и думы» — не историческая монография, а отражение истории в человеке, *случайно* попавшемся на ее дороге. Вот почему я решился оставить отрывочные главы, как они были, нанизавши их, как нанизывают картинки из мозаики в итальянских браслетах: все изображения относятся к одному предмету, но держатся вместе только оправой и колечками.

Для пополнения этой части необходимы, особенно относительно 1848 года, мои «Письма из Франции и Италии»; я хотел взять из них несколько отрывков, но пришлось бы столько перепечатывать, что я не решился.

Многое, не взошедшее в «Полярную звезду», вошло в это издание — но всего я не могу еще передать читателям, по разным общим и личным причинам. Не за горами и то время, когда напечатаются не только выпущенные страницы и главы, но и целый том, самый дорогой для меня...

Женева, 29 июля 1866

ПЕРЕД РЕВОЛЮЦИЕЙ И ПОСЛЕ НЕЕ

Глава I ПУТЬ

*Потерянный пасс. — Кёнигсберг. —
Собственноручный нос. — Приехали! —
И уезжаем*

...В Лауцагене прусские жандармы просили меня взойти в кордегардию. Старый сержант взял пассы, надел очки и с чрезвычайной отчетливостью стал вслух читать все, что не нужно: «Auf Befehl s.k. M. Nicolai des Ersten... allen und jeden denen daran gelegen etc, etc... Unterzeichner Peroffski, Minister des Innern, Kammerherr, Senator und Ritter des Ordens St. Wladimir... Inhaber eines goldenen Degens mit der Inschrift für Tapferkeit»¹...

Этот сержант, любивший чтение, напоминает мне другого. Между Тетрачино и Неаполем неаполитанский карабинер четыре раза подходил к дилижансу, всякий раз требуя наши визы. Я показал ему неаполитанскую визу, ему этого и полкарлина было мало, он понес пассы в канцелярию и воротился минут через двадцать с требованием, чтоб я и мой товарищ шли к бригадиру. Бригадир, старый и пьяный унтер-офицер, довольно грубо спросил:

¹ «По указу е. и. в. Николая Первого... всем и каждому, кому ведать надлежит и т.д., и т.д. ... Подписал Перовский, министр внутренних дел, камергер, сенатор и кавалер ордена св. Владимира... имеющий золотое оружие с надписью «За храбрость» (нем.).

— Как ваша фамилия, откуда?

— Да это все тут написано.

— Нельзя прочесть.

Мы догадались, что грамота не была сильною стороною бригадира.

— По какому закону, — сказал мой товарищ, — обязаны мы вам читать наши пассы? Мы обязаны их иметь и показывать, а не диктовать: мало ли что я сам продиктую.

— Accidenti! — пробормотал старик, — *va ben, va ben!*¹ — и отдал наши виды, не записывая.

Ученый жандарм в Лауцагене был не того разбора; прочитав три раза в трех пассах все ордена Перовского, до пряжки за беспорочную службу, он спросил меня:

— Вы-то, *Euer Hochwohlgeboren*², кто такое?

Я вытаращил глаза, не понимая, что он хочет от меня.

— *Fräulein Maria E<rn>*, *Fräulein Maria K<orsch>*, *Frau H<aag>*³, — всё женщины, тут нет ни одного мужского вида.

Посмотрел я: действительно, тут были только пассы моей матери и двух наших знакомых, ехавших с нами, — у меня мороз пробежал по коже.

— Меня без вида не пропустили бы в Таурогене.

— *Bereits so*⁴, только дальше-то ехать нельзя.

— Что же мне делать?

— Вероятно, вы забыли в кордегардии, я вам велю заложить санки, съездите сами, а ваши пока погреваются у нас. — *Neh! Kerl, laß er mal den Braunen anspannen*⁵.

Я не могу без смеха вспомнить этот глупый случай, именно потому, что я совершенно смутился от него.

¹ Черт возьми! Ладно уж, ладно! (*итал.*).

² Ваше высокоблагородие (*нем.*).

³ Барышня Мария Э<rn>, барышня Мария К<орш>, госпожа Г<aag> (*нем.*)

⁴ Так-то так (*нем.*).

⁵ Эй, малый, заложил-ка гнедого (*нем.*).

Потеря этого паспорта, о котором я несколько лет мечтал, о котором два года хлопотал, в минуту переезда за границу, поразила меня. Я был уверен, что я его положил в карман, стало, я его выронил, — где же искать? Его занесло снегом... надобно просить новый, писать в Ригу, может, ехать самому; а тут сделают доклад, догадаются, что я к минеральным водам еду в январе. Словом, я уже чувствовал себя в Петербурге, образы Кошкина и Сахтынского, Дубельта и Николая бродили в голове. Вот тебе и путешествие, вот и Париж, свобода книгопечатания, камеры и театры... опять увижу я министерских чиновников, квартальных и всяких других надзирателей, городских с двумя блестящими пуговицами на спине, которыми они смотрят назад... и прежде всего увижу опять небольшого, сморщившегося солдата в тяжелом кивере, на котором написано таинственное 4, обмерзлую казацкую лошадь... Хоть бы кормилицу-то мне застать еще в «Тавроге», как она говорила.

Между тем заложили большую печальную и угловатую лошадь в крошечные санки. Я сел с почтальоном в военной шинели и ботфортах; почтальон классически хлопнул классическим бичом — как вдруг ученый сержант выбежал в сени в одних панталонах и закричал:

— Halt! Halt! Da ist der vermaledeite Paß¹, — и он его держал развернутым в руках.

Спазматический смех овладел мною.

— Что же вы это со мной делаете? Где вы нашли?

— Посмотрите, — сказал он, — ваш русский сержант положил лист в лист, кто же его там знал, я не догадался повернуть листа...

А ведь прочитал три раза: «Es ergeheth deshalb an alle hohe Mächte, und an alle und jeden, welchen Standes und welcher Würde sie auch sein mögen»...²

¹ Стой! стой! Вот проклятый паспорт! (нем.).

² «Того ради надлежит всем высоким державам и всем и каждому, какого чина и звания они ни были бы...» (нем.).

...«В Кёнигсберг я приехал усталый от дороги, от забот, от многого. Выспавшись в пуховой пропасти, я на другой день пошел посмотреть город; на дворе был теплый зимний день»¹; хозяин гостиницы предложил проехаться в санях, лошади были с бубенчиками и колокольчиками, с страусовыми перьями на голове... И мы были веселы, тяжелая плита была снята с груди, неприятное чувство страха, щемящее чувство подозрения — отлетели. В окне книжной лавки были выставлены карикатуры на Николая, я тотчас бросился купить целый запас. Вечером я был в небольшом, грязном и плохом театре, но я и оттуда возвратился взволнованным не актерами, а публикой, состоявшей большей частью из работников и молодых людей; в антрактах все говорили громко и свободно, все надевали шляпы (чрезвычайно важная вещь, столько же, сколько право бороду не брить и пр.). Эта развязность, этот элемент более ясный и живой поражает русского при переезде за границу. Петербургское правительство еще до того грубо и не обтерлось, до того — только деспотизм, что любит наводить страх, хочет, чтоб перед ним все дрожало, словом, хочет не только власти, но сценической постановки ее. Идеал общественного порядка для петербургских царей — передняя и казармы.

...Когда мы поехали в Берлин, я сел в кабриолет; возле меня уселся какой-то закутанный господин; дело было вечером, я не мог его путем разглядеть. Узнав, что я русский, он начал меня расспрашивать о строгости полиции, о паспортах — я, разумеется, рассказал ему все, что знал. Потом зашла речь о Пруссии, он восхвалял бескорыстие прусских чиновников, превосходство администрации, хвалил короля и, в заключение, сильно напал на познанских поляков за то, что они нехорошие немцы. Меня это удивило, я ему возражал, сказал прямо, что я совсем не делю его мнения, и потом замолчал.

¹ «Письма из Франции и Италии». — Письмо I. — *Примеч. А. И. Герцена.*

Между тем рассвело; тут только я заметил, что мой сосед-консерватор говорил в нос вовсе не от простуды, а оттого, что у него его не было, по крайней мере, недоставало самой видной части. Он, вероятно, заметил, что открытие это не принесло мне особенного удовольствия, и потому счел нужным рассказать мне, вроде извинения, историю о потере носа и его восстановлении. Первая часть была сбивчива — но вторая очень подробна: ему сам Диффенбах вырезал из руки новый нос, рука была привязана шесть недель к лицу; «Majestät»¹ приезжал в больницу посмотреть, высочайше удивился и одобрил.

Le roi de Prusse, en le voyant,
A dit: c'est vraiment étonnant².

По-видимому, Диффенбах был тогда занят чем-то другим и нос ему вырезал прескверный. Но вскоре я открыл, что собственноручный нос был наименьшим из его недостатков.

Переезд наш из Кёнигсберга в Берлин был труднее всего путешествия. У нас взялось откуда-то поверье, что прусские почты хорошо устроены, — это все вздор. Почтовая езда хороша только во Франции, в Швейцарии да в Англии. В Англии почтовые кареты до того хорошо устроены, лошади так изящны и кучера так ловки, что можно ездить из удовольствия. Самые длинные станции карета несетя во весь опор; горы, съезды — все равно. Теперь, благодаря железным дорогам, вопрос этот становится историческим, но тогда мы испытали немецкие почты с их клячами, хуже которых нет ничего на свете, разве одни немецкие почтальоны.

Дорога от Кёнигсберга до Берлина очень длинна; мы взяли семь мест в дилижансе и отправились. На первой

¹ его величество (нем.).

² Король прусский, заметив его, сказал: это в самом деле удивительно (франц.).

станции кондуктор объявил, чтобы мы брали наши пожитки и садились в другой дилижанс, благоразумно предупреждая, что за целость вещей он не отвечает. Я ему заметил, что в Кёнигсберге я спрашивал и мне сказали, что места останутся; кондуктор ссылаясь на снег и на необходимость взять дилижанс на полозьях; против этого нечего было сказать. Мы начали перегружаться с детьми и с пожитками ночью, в мокром снегу. На следующей станции та же история, и кондуктор уже не давал себе труда объяснять перемену экипажа. Так мы проехали с полдороги; тут он объявил нам очень просто, что «нам дадут *только пять мест*».

— Как пять? вот мой билет.

— Мест больше нет.

Я стал спорить; в почтовом доме отворилось с треском окно, и седая голова с усами грубо спросила, о чем спор. Кондуктор сказал, что я требую семь мест, а у него их только пять; я прибавил, что у меня билет и расписка в получении денег за семь мест. Голова, не обращая ко мне, дерзким, раздавленным русско-немецко-военным голосом сказала кондуктору:

— Ну, не хочет этот господин пяти мест, так бросай пожитки долой, пусть ждет, когда будут семь пустых мест.

После этого почтенный почтмейстер, которого кондуктор называл «Негг Мајог»¹ и которого фамилия была Шверин, захлопнул окно. Обсудив дело, мы, как русские, решились ехать. Бенвенуто Челлини, как итальянец, в подобном случае выстрелил бы из пистолета и убил почтмейстера.

Мой сосед, исправленный Диффенбахом, в это время был в трактире; когда он вскарабкался на свое место и мы поехали, я рассказал ему историю. Он был выпивши и, следственно, в благодушном расположении; он принял глубочайшее участие и просил меня дать ему в Берлине записку.

¹ «господин майор» (нем.).

— Вы почтовый чиновник? — спросил я.

— Нет, — отвечал он, еще больше в нос, — но это все равно... я ...видите... как это здесь называется — службу в центральной полиции.

Это открытие было для меня еще неприятнее собственноручного носа.

Первый человек, с которым я либеральничал в Европе, был шпион, зато он не был последний.

...Берлин, Кёльн, Бельгия, — все это быстро прореяло перед глазами; мы смотрели на все полурассеянно, мимоходом; мы торопились доехать и *доехали*, наконец.

...Я отворил старинное, тяжелое окно в *hôtel du Rhin*¹; передо мной стояла колонна —

...с куклою чугунной,
Под шляпой, с пасмурным челом,
С руками, сжатыми крестом.

Итак, я действительно в Париже, не во сне, а наяву: ведь это Вандомская колонна и *gue de la Paix*².

В *Париже* — едва ли в этом слове звучало для меня меньше, чем в слове «Москва». Об этой минуте я мечтал с детства.

Дайте же взглянуть на *Hôtel de Ville*, на *café Foy* в Пале-Рояле, где Камиль Демулен сорвал зеленый лист и прикрепил его к шляпе, вместо кокарды, с криком: «à la Bastille!»³

Дома я не мог остаться; я оделся и пошел бродить зря... искать Бакунина, Сазонова... Вот *gue St.-Honoré*, Елисейские Поля — все эти имена, сроднившиеся с давних лет... да вот и сам Бакунин...

Его я встретил на углу какой-то улицы; он шел с тремя знакомыми и, точно в Москве, проповедовал им что-то, беспрестанно останавливаясь и махая сигареткой. На этот раз проповедь осталась без заключения:

¹ Рейнской гостинице (*франц.*).

² улица Мира (*франц.*).

³ «к Бастилии!» (*франц.*).

я ее перервал и пошел вместе с ним удивлять Сазонова моим приездом.

Я был вне себя от радости!

На ней я здесь и остановлюсь.

Париж еще раз описывать не стану. Начальное знакомство с европейской жизнью, торжественная прогулка по Италии, вспянувшей от сна, революция у подножия Везувия, революция перед церковью Св. Петра и, наконец, громовая весть о 24 феврале — все это рассказано в моих «Письмах из Франции и Италии». Мне не передать теперь с прежней живостью впечатления, полустертые и задвинутые другими. Они составляют необходимую часть моих «Записок», — что же, вообще, письма, как не *записки* о коротком времени?

Глава II

МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ РЕСПУБЛИКИ

*Англичанин в меховой куртке. —
Герцог де Ноаль. — Свобода и ее бюст
в Марсели. — Аббат Сибур и Всемирная
республика в Авиньоне*

...«Завтра мы едем в Париж, я оставляю Рим оживленным, взволнованным. Что-то будет из всего этого? Прочно ли все это? Небо не без туч, временами веет холодный ветер из могильных склепов, нанося запах трупа, запах прошедшего; историческая трамонтана сильна — но что бы ни было, благодарность Риму за пять месяцев, которые я в нем провел. Что прочувствовано, то останется в душе — и совершенно всего не случит же реакция».

Вот что я писал в конце апреля 1848 года, сидя у окна на *via del Corso* и глядя на «Народную» площадь, на которой я так много видел и так много чувствовал.

Я ехал из Италии влюбленный в нее, мне жаль было ее — там встретил я не только великие события, но и первых симпатичных мне людей; а все-таки ехал. Мне казалось изменой всем моим убеждениям не быть в Париже, когда в нем республика. Сомнения видны в приведенных строках, но вера брала верх, и я с внутренним удовольствием смотрел в Чивите на печать консульской визы, на которой были вырезаны грозные слова «*République Française*»¹ — я и не подумал, что именно потому Франция и не республика, что надо визу!

¹ «Французская республика» (*франц.*).

Мы ехали на почтовом пароходе. Общество было довольно большое и, как всегда, разнообразно составленное: тут были путешественники из Александрии, Смирны, Мальты. С Ливорно начиная, поднялся страшный весенний ветер: он гнал пароход с невероятной быстротой и с невыносимой качкой; через два-три часа палуба покрылась больными дамами, мало-помалу слегли и мужчины, исключая одного седого старичка француза, англичанина в меховой куртке и меховой шапке из Канады и меня. Каюты были тоже наполнены больными, и одной духоты и жара в них было достаточно, чтоб заболеть; мы трое ночью сидели посередине палубы на чемоданах, покрывшись шинелями и рельевагами, под завыванье ветра и плеск волн, заливавших иногда переднюю часть палубы. Англичанина я знал: в прошедшем году мы ехали с ним на одном пароходе из Генуи в Чивита-Веккию. Случилось, что мы обедали только двое; он весь обед ничего не говорил, но за десертом, смягченный марсалой и видя, что и я, с своей стороны, не намерен вступать в разговор, он подал мне сигару и сказал, что «сигары свои он сам привез из Гаваны». Потом мы разговорились с ним; он был в Южной Америке, в Калифорнии и говорил, что много раз собирался съездить в Петербург и в Москву, но не поедет, пока не будет *правильного* сообщения и прямого — между Лондоном и Петербургом¹.

— Вы в Рим? — спросил я его, подъезжая к Чивите.

— Не знаю, — отвечал он.

Я замолчал, полагая, что он принял мой вопрос за нескромный; но он тотчас добавил:

— Это зависит от того, как климат мне понравится в Чивите. А вы остаетесь здесь?

— Да. Пароход пойдет завтра.

Я тогда еще очень мало знал англичан и потому едва мог скрыть смех — и совсем не мог, когда на другой день, гуляя перед отелем, встретил его в той же меховой

¹ Теперь оно есть. — *Примеч. А. И. Герцена.*